

ВАЛЕРИЙ СОЛОВЕЙ

Русские против империи

СВОБОДНАЯ
МЫСЛЬ – XXI

2002 № 12

Полемичное название статьи постулирует ее центральный тезис: русский народ находился в постоянном и напряженном конфликте с созданной его усилиями величайшей в мировой истории империей. Именно этот конфликт послужил фундаментальной причиной гибели империи как в ее до-революционном варианте, так и в обновленной советской модификации.

Сама по себе идея антагонизма между простым народом и имперским государством, его элитой не нова, восходя к раннему славянофильству и послужив источником вдохновения влиятельной историософской и исторической традиции. Одним из удачных и недавних решений этой проблемы на историческом материале можно назвать книгу известного английского ученого Джеффри Хоскинга «Россия: народ и империя»¹.

Но я предлагаю рассматривать базовое противоречие русского развития как *конфликт идентичностей* — этнической и государственной, что смещает фокус анализа с социально-политической и экономической истории в область этнической истории, национального сознания и социокультурной динамики, открывая новую интеллектуальную перспективу. Ее возможности демонстрируются интересными работами петербургской исследовательницы С. Лурье², послужившими, равно как и книга Хоскинга, отправной точкой и, отчасти, концептуальным основанием моего очерка.

Тема идентичности занимает все более видное место в отечественном научном и общественно-политическом дискурсе, что естественно для современной России, в которой масштабный системный кризис ознаменовался ломкой и трансформацией прежних идентификационных основ, поиском и выстраиванием новых идентичностей. Но акцент на нынешнем положении дел, которое, вне зависимости от идейно-политических взглядов и научных школ, характеризуется одинаково — как идентификационный кризис России, чаще всего оставляет за скобками предшествующее состояние русской идентичности. Молчаливо подразумевается или прямо утверждается, что уж до начала XX века, до большевистской революции, с русской идентичностью все обстояло благополучно. Подобная априорная посылка представляется глубоко ошибочной.

СОЛОВЕЙ Валерий Дмитриевич — кандидат исторических наук, эксперт Горбачев-фонда. Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта № 01-03-0077 («Мегатенденции российской политики»).

¹ См. **Дж. Хоскинг**. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск, 2000.

² См.: **С. В. Лурье**. Историческая этнология. М., 1998; **ее же**. В поисках русского национального характера. — «Отечественные записки». 2002. № 3.

Пронизывающий отечественную историю начиная с середины XVII века, открытый религиозный, социокультурный, а впоследствии и политический раскол был не чем иным, как принявшей кризисную форму перманентной трансформацией идентичности русского этноса и российского государственно-цивилизационного комплекса. Другими словами, кризис идентичности не является исключительным достоянием современности или XX века, он проходит красной нитью через всю российскую историю; а сердцевину его составлял конфликт между этнической идентичностью русских и имперским государством.

Что же такое идентичность? Пользуясь пушкинской фразой, идентичность — это «самостоянье человека», глубинное основание субъектности как личности, так и социальных, политических и этнических общностей разного порядка. Применительно к государству и нации — традиционно ключевым игрокам в мировой истории и политике — таким фундаментальным основанием выступают государственно-гражданская и этническая идентичности.

Государственная идентичность подразумевает образ государства в массовом сознании и стремление к интеграции с ним (или, наоборот, отталкивание от государства); гражданская — то же самое, но в отношении страны и общества. Эти линии идентификации настолько тесно и неразрывно связаны, что их отдельное изучение вряд ли возможно. Но все же они не совпадают, и это расхождение тем заметнее, чем более общество автономно от государства. В России категории «народ» («общество») и «Отечество» («страна») традиционно рассматривались как подчиненные «государству» — центральному понятию русской политической мифологии, что было закономерным следствием имперской политики идентичности, направленной на отождествление гражданских и государственных идентитетов.

Связь государственно-гражданской идентичности с этнической проступает особенно рельефно для народов, исторически выступавших в роли создателей государственности. В широком понимании этническая идентичность синонимична этническому самосознанию. Она включает не только идентификацию — самоотнесение к той или иной национальности, но и образ «мы»: комплекс представлений о своей этнической общности и ее национальном характере (автостереотипы), историческом прошлом своего народа, его образе действий в истории и способе освоения мира, культуре, языке, территории, а также о других этнических общностях (гетеростереотипы). Следует помнить о мифологичности этнического самосознания, что не означает его ложности: миф реален не по своему содержанию, а по свойственной ему мобилизующей силе.

Имперское против русского

К исходу существования дореволюционной России в стране не только не сложилась русская *политическая* нация, аналогичная европейским нациям-государствам, но даже общерусское *политическое* единство порою выглядело сомнительным. Сознание подавляющего большинства русского народа — крестьян — носило локальный характер, более широкое представление о нации и России стало у них возникать лишь в первое десятилетие XX века. По иронии судьбы, этот процесс был значительно интенсифицирован Первой мировой войной. Отсутствовали у русских и такие важные предпосылки превращения в политическую нацию, как значительная горизонтальная (по крайней мере до второй половины XIX века) и вертикальная (общество оставалось сегрегированным) мобильность, а также культурная однородность. Низы общества были

отделены от верхов не только политическими и социальными барьерами, они жили в различных культурных контекстах и пространственно-временных континуумах. Достаточно сравнить циклическое время и локальное, замкнутое пространство крестьянской общины с линейным временем и большим, разомкнутым пространством европеизированной элиты.

Преодолеть эти качественные различия не удалось и православной церкви — своеобразной квинтэссенции русскости, призванной, казалось, занять место в центре формирующейся национальной общности. Однако, оказавшись подчиненной имперским интересам, будучи (с начала XVIII века) тесно интегрированной в государство и откровенно им третируясь, церковь не смогла стать стержнем формирования русской политической нации. Более того, по мере катастрофического падения авторитета церковных институтов дистанция между декоративным христианством секуляризованной элиты и народным православием увеличилась настолько, что они выглядели разными религиями.

Слабость и непроявленность *политической* (гражданской) ипостаси русской нации до определенного времени успешно компенсировались ее высоко развитым этническим самосознанием, опиравшимся на стройную и целостную мифосимволическую систему. Вместе с тем русская этничность (носителем которой выступала прежде всего крестьянская община) находилась в напряженных отношениях сотрудничества-конфликта с имперским государством и олицетворяющей его элитой.

Этот конфликт был вызван характером российского государства, с XVI века все более зримо приобретающим черты континентальной империи. Возникшая вследствие длительной территориальной экспансии значительная этнокультурная и этнополитическая неоднородность, огромные размеры, императив сохранения территориальной целостности и выживания государства перед лицом постоянных внешних вызовов и угроз, присущие империи универсалистские ориентации выдвигали на первый план имперскую идентичность с ее приоритетами государственного (в идеале лишенной этнической привязки) патриотизма и династической лояльности.

Россия была далека от классической колониальной империи: в ней отсутствовала метрополия, не было имперской нации, ее стабильность обеспечивалась интеграцией местной знати в полиэтничную имперскую элиту и бюрократию. Хотя имперское строительство осуществлялось ценой мобилизации преимущественно русских этнических ресурсов, это не компенсировалось льготами и преимуществами государствообразующему народу, даруя ему лишь обязанности и право жертвовать собою.

Опора на русских была объективно predeterminedена силой, в том числе биологической, русской этничности, находившейся в период формирования империи в фазе своего бурного подъема. С начала XVI и до конца XVIII столетия численность великороссов (без украинцев и белорусов) выросла в 4 раза, тогда как французов — на 80 процентов, а итальянцев — на 64 процента³. Примерно тот же порядок цифр характеризует территориальный прирост России, не говоря уже о том, что именно в это время страна приобретает положение влиятельнейшей европейской силы, в ней создается «высокая культура» и т. д.

Не удивительно, что пассионарная идентичность русских вступила в противоречие с не менее пассионарной молодой империей, которая, питаясь русской

³ См. И. Чернышевский. Русский национализм: несостоявшееся пришествие. — «Отечественные записки». 2002. № 3. С. 171.

этнической субстанции, одновременно пыталась всецело подчинить ее государственным интересам и навязать с трудом приемлемую имперскую идентичность.

Конфликт между русским этническим самосознанием и империей разворачивался одновременно в двух плоскостях: идеальной — за «правильное» понимание служения русскому мессианскому идеалу и социально-политической — вокруг модели государства и стратегии формирования русской нации.

Центральный, корневой русский миф — особое предназначение русского народа в эсхатологической перспективе — пропитывал всю отечественную культуру, служа полем конкуренции влиятельных интерпретаций: в форме государственной идеологии, в форме старообрядческого взгляда (к началу XX века староверы составляли от одной пятой до четверти взрослого населения России⁴) и позиции влиятельных эсхатологических сект, в форме квазирелигиозных радикальных политических течений. Даже отвержение русской уникальности апеллировало к *исключительной* отсталости России, то есть тематизировалось тем же мессианизмом⁵. Но главным основанием конфликта служило не столько различное прочтение мессианского мифа, сколько различные стратегии его воплощения в земную жизнь, разное понимание служения великой русской миссии. «Крестьянство соотносило “образ мы” прежде всего с самим собой, с народушком российским, а значит, считало необходимым нести свое служение исключительно по своему разумению (иногда — довольно глубокому и верному), московское, а затем имперское государство видело цель существования всего русского государственного организма в служении высшему идеалу, ради которого готово было всех поставить под ружье, всех заверстать на весьма стеснительную службу. И никаких вольностей в отношении служения не признавало. Крестьянская община, бывшая для себя самодостаточным “миром”, для государства была не более чем фискальным инструментом»⁶.

Народный образ государства и нации носил стихийно-демократический характер: «Русская земля» мыслилась федерацией самоуправляющихся крестьянских миров с нестеснительными централистскими инстанциями, а русская общность виделась вырастающей из локальных сообществ, то есть формирующейся *снизу*. Для империи же на первом месте стояли государственные институты, фискальные и военные нужды, требовавшие абсолютного подчинения русских этнических интересов, а вектор строительства нации направлялся *сверху* вниз. Конфликт между двумя моделями государство- и нациестроительства, между русской этнической идентичностью и имперским государством достиг своего максимального напряжения к началу XX века, вылившись в грандиозную русскую смуту.

И все же не стоит абсолютизировать противоречия между русской этнической системой и имперским государством, которые, нуждаясь друг в друге, могли также плодотворно взаимодействовать. Обществу было не обойтись без мощного государства — единственной силы, способной обеспечить создание и деятельность структур цивилизации в экстремальных российских условиях. Один из базовых русских мифов — миф *служения* — легитимировал в народном сознании несение государственных повинностей⁷. Правда, до той поры, пока государство рассматривалось как служащее, пусть и на свой лад, русскому мессианскому идеалу и пока признавался суверенитет монарха над русской этни-

⁴ См. Дж. Хоскинг. Россия: народ и империя. С. 86.

⁵ См. С. Лурье. В поисках русского национального характера. С. 67—68.

⁶ Там же. С. 68.

⁷ См. там же. С. 64, 69.

ческой системой. Если же царь оказывался «подменным» и/или служба — «обманом», то происходила делегитимация (частичная или тотальная) государства.

Наиболее ярким доказательством принципиальной возможности синтеза имперской и этнической идентичностей может служить русская армия, отличавшаяся исключительно высокими боевыми и моральными качествами. Будучи по своему характеру крестьянской и в этом смысле глубоко народной, она одновременно стала «главной социальной базой имперского сознания, почти не имевшего опоры в деревне». Не удивительно, что российские военные бюрократы второй половины XIX века рассматривали армию как тигель, в котором выплавится русская *политическая* нация⁸.

Существовавшие между русским народом и имперским государством крайне напряженные отношения сотрудничества-конфликта способствовали укоренению специфически русской политической мифологии. Она характеризовалась ярко выраженным дуализмом, где полюсу служения государству и даже его сакрализации противостоял полюс разрушительного бунтарства, разудалой вольницы и анархии. При этом отсутствовала или была слабо выражена идея «срединного пути» — понимания государства как инструмента, находящегося на службе общества, подотчетного народу и от него зависимого. (Вряд ли могло быть иначе, пока русские оставались *дополитической* общностью, а источником и носителем суверенной власти выступал монарх или позже — коммунистическое государство.) Упрощая, можно сказать, что русские либо покорствовались обожествляемой силе государства, либо бунтовали против всякой власти, любых навязанных институтов и форм социально-политического бытия. (По Дж. Биллингтону, русский социокультурный код — «икона и топор».)

Однако пресловутая русская покорность никогда не была квиетизмом или социальной пассивностью. Русские оказались исключительно деятельным народом, иначе в суровых природно-климатических условиях крестьянство просто не смогло бы выжить. Русская территориальная экспансия также имела первым этапом именно *народную* колонизацию, прокладывавшую дорогу государству. Поэтому укорененный в современном массовом сознании патернализм, ориентирующийся на внешнее вмешательство или изменение обстоятельств, а не *самоизменение*, выглядит скорее *советским*, чем русским наследием.

Глубокий антагонизм между русским народом и империей вел к их взаимному ослаблению. «Политические, экономические и культурные институты общества, которое могло бы стать русской нацией, были уничтожены или истощены потребностями империи, тогда как государство слабело от отсутствия этнической субстанции, неспособности по большей части вызвать к себе лояльность даже русских, не говоря уже о нерусских подданных. Интеллигенция, пытавшаяся сыграть роль посредника и создать “придуманное общество” как синтез имперской культуры и этнической общности, оказалась просто раздавленной между ними»⁹.

Имперская власть не была чужда пониманию этого драматического вызова и начиная со второй половины XIX века пыталась выстроить новую стратегию идентичности, предполагавшую синтез государственных и этнических идентитетов. Эти усилия были следствием и составной частью модернизации России, которая в свою очередь определялась принципиальной необходимостью противостоять оказавшимся более эффективными, чем традиционные империи, национальным государствам.

⁸ См. Дж. Хоскинг. Россия: народ и империя. С. 202, 207–208.

⁹ Там же. С. 13.

В рамках новой стратегии сочетались два подхода: а) этнический — русификация России через использование механизмов институционально-административной интеграции и этнокультурной ассимиляции и б) гражданский — политическая и социальная модернизация, создание элементов гражданского общества. Это непоследовательное и внутренне противоречивое движение было направлено на превращение русских в имперскую нацию, ассимилировавшую основные нерусские национальности. Подобная гипотетическая нация могла стать аналогом европейских политических наций, знаменуя превращение Российской империи в де-факто национальное государство.

Европейский опыт свидетельствовал возможность ассимиляторского пути строительства политической нации в том случае, если этническое ядро государства (в нашем случае — русские) доминирует культурно и политически, а также преобладает численно. В конце XIX века русские находились в империи в количественном меньшинстве. Чем сильнее оказывалось давление русификаторской политики, тем больший размах приобретали национализмы нерусских народов, некоторые из которых продвинулись по пути модернизации дальше русских.

Проводившаяся государством культурно-языковая русификация компенсировалась экономическим, социальным, а в ряде случаев — политическим ущемлением великорусского населения. В конце XIX — начале XX века налоговое бремя жителей русских губерний было в среднем на 59 процентов больше, чем у населения национальных окраин. Русские, не будучи большинством в империи, поставляли больше всего рекрутов в армию. В регионах преобладающего польского помещичьего землевладения русские крестьяне находились в положении граждан второго сорта, подвергаясь тотальной дискриминации.

В то время, когда Россия выбрала ужесточение национальной политики, Австро-Венгрия обратилась к альтернативной стратегии расширения культурных и политических прав входивших в ее состав народов. Но эта линия точно так же не смогла сохранить «старую» империю, как и российская политика ассимиляторства. Вместе с тем унаследованная от советской историографии точка зрения о межнациональных противоречиях как одной из главных причин крушения Российской империи не выглядит убедительной. Национальный взрыв был скорее следствием, но не причиной развала имперских государственных механизмов, эрозии принципа династической лояльности и имперской легитимности воследовавших в ходе Первой мировой войны.

Хотя в любом случае происходившая с середины XIX века смена этнополитических приоритетов империи свидетельствовала о кризисе традиционных форм имперской идентичности и углубляла его. В отличие от «двуетной монархии» и оттоманской Турции России удалось преодолеть этот кризис не на путях создания национального государства, а восстановив империю в форме СССР.

Советское против русского

В Советском Союзе, как и в его исторической предшественнице — Российской империи, на первом плане находилась имперская идентичность. Однако СССР удалось успешно решить (вопрос о цене в данном случае не обсуждается) основные задачи индустриальной модернизации, ликвидировать социальную сегрегацию, добиться политической и культурной однородности. Поэтому новая имперская идентичность приобрела современный облик, включив некоторые важные черты *политической* нации: систему общих институтов и коммуникаций, единую политическую мифологию, символику и ритуал, общую политическую культуру и т. д.

Все это воплотилось в интегральной категории «советский человек», означавшей не только государственное, но и цивилизационное самоопределение. Альтернативный цивилизационный проект служил доминантой строительства новой политической (в коммунистической терминологии 1970—1980-х годов — «новой исторической») общности — «советского народа», который можно рассматривать как советский субститут западного понятия «политическая нация».

Процесс конструирования «советского народа» во многом предвосхитил популярную на современном Западе политику мультикультурализма: акцент на политическом единстве не исключал сохранения и даже поощрения этнокультурного своеобразия «советских наций» и этнических групп, хотя и в жестких политико-идеологических рамках. Другими словами, стержнем советской национальной стратегии была идейно-политическая, экономическая и социокультурная *интеграция*, а не этнокультурная *ассимиляция*. Более того, привязав национальную принадлежность к территории и введя ее паспортное установление, советский режим институционализировал этничность, следствием чего стало формирование наций и строительство «национальных домов» — квазигосударственных образований — даже там, где их исторически никогда не существовало.

Фундаментальное и драматическое противоречие советской национальной политики состояло как раз в том, что институционализация этничности на субгосударственном уровне не сопровождалась институционализацией национальности на уровне государства в целом¹⁰. Хотя де-факто «советская национальность» и «советская нация» существовали, в общественно-политическом дискурсе эти понятия никогда не использовались из-за опасений спровоцировать рост этнической напряженности ввиду «отмены» наций как этнических общностей.

Институционализовав этничность, советская власть открыла возможность для воспроизведения в новых условиях старого конфликта между принципом имперской идентичности и этническими идентичностями возникавших (и существовавших) наций. В теоретическом плане это выглядело противоречием между концепциями политической (гражданской, территориальной) и этнической наций. Но противоречие, указывающее методологическую ущербность и политическую опасность их разведения и противопоставления. Понятия «этнической» и «гражданской» наций суть не более чем служащие упорядочиванию действительности *идеальные типы*, которые, если брать их в аутентичном, веберовском понимании, *не могут служить аналитическим инструментом*¹¹. На деле речь должна идти о динамичном соотношении этнического и гражданского аспектов *единой* общности. Именно советский опыт демонстрирует всю опасность их разрыва и тем более противопоставления. Предпринятая в СССР попытка одновременного конструирования лишенной в идеале этнической привязки политической нации и формирования этнонаций изначально и была чревата конфликтом между этими двумя кардинальными направлениями национального строительства. Причем, чем успешнее выглядела советская национальная политика, тем больше увеличивалась опасность. Только мощное и всеобъемлющее государство не позволяло актуализироваться этой угрозе.

Ввиду конечного фиаско глобального советского проекта возникает соблазн постфактум оценить советскую этнополитическую стратегию как заведомо провальную. Подобная точка зрения ошибочна: отчасти и временами эта стра-

¹⁰ См. **И. М. Брудный**. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России. — «Полис». 2002. № 1. С. 88—89.

¹¹ Подробнее см.: **В. Коротева** Существуют ли общепризнанные истины о национализме? — «Pro et contra». 1997. Т. 2. № 3.

тегия оказывалась весьма эффективной, что, однако, не исключает ее оценки как исторически обреченной. «Советский народ» отнюдь не оказался химерой коммунистических идеологов, но приобрел черты реальной супраэтнической общности, что в наибольшей степени проявилось среди русских. В 1989 году удельный вес категории «советский человек» среди самохарактеристик русских РСФСР составлял 30 процентов, а среди жителей Москвы и Ленинграда — 38 процентов¹². То есть около трети русских, живших на своей номинальной этнической родине, самоопределяли себя исключительно (или в первую очередь) как членов политического сообщества, а не этнической общности. Почти десятилетие спустя уже 64,8 процента русских заявляли о переживании в советское время «чувства принадлежности к большому сообществу» (из контекста следует, что речь идет о политическом сообществе)¹³. Лишь утратив, мы в полной мере осознаем, *что* именно потеряли: в данном случае речь идет о переживании утраты советской идентичности, ретроспективное восприятие которой окрашено в позитивные психоэмоциональные тона.

Облаченная в имперскую форму государственно-гражданская идентичность русских абсолютно превалировала над этнической вплоть до начала 1990-х годов. По опросу ВЦИОМ, в декабре 1990 года, то есть незадолго до распада Советского Союза, когда «парад суверенитетов» и межэтнические конфликты в стране приближались к своему апогею, от 70 до 80 процентов русских в России и других союзных республиках называли себя в первую очередь гражданами Советского Союза. Они воспринимали в качестве родины все пространство империи (считали СССР своей родиной почти 80 процентов русских, а РСФСР — только 14 процентов), в то время как подавляющее большинство, скажем, узбеков и грузин называли Родиной «свои» республики¹⁴.

Этническая же идентичность русских выглядела крайне ослабленной: во второй половине 1980-х годов не более четверти русских могли назвать хотя бы один признак национальной идентификации¹⁵. То есть переживание «русскости» отличалось настолько низкой интенсивностью, что само существование русской этнической общности порою казалось проблематичным. К исходу советской эпохи русские оказались наиболее деэтнизированными среди больших народов СССР. (К сожалению, мне не встречались данные о соотношении этнической и государственно-гражданской идентичности у украинцев и белорусов: вероятно, среди белорусов ситуация была близка к русской.) Это, конечно, не означает отсутствия у русских этнической идентичности как таковой, правильнее говорить о ее крайней слабости и низкой, по сравнению со многими другими крупными советскими народами, интенсивности переживания этничности.

Социометрия позволяет выяснить, что в этническом плане русские идентифицировали себя прежде всего по этнокультурным признакам: первое место занимал язык, второе — общие со своим народом традиции и обычаи, третье — культура,

¹² См. Л. М. Дробижева, А. Р. Аклаев, В. В. Коротева и др. Демократия и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996. С. 305—306.

¹³ См. Л. Бызов. Становление новой политической идентичности в постсоветской России: эволюция социально-политических ориентации и общественного запроса. — «Российское общество: становление демократических ценностей?» М., 1999. С. 70—71.

¹⁴ См. «Русские (Этносоциологические очерки)». М., 1992. С. 400, 415.

¹⁵ См. там же. С. 400. Поскольку этот опрос проводился среди русских довольно космополитичной Москвы, то не исключено, что в русской глубинке переживание «русскости» было более глубоким. Однако в любом случае возможный разрыв не носил принципиального характера.

четвертое и пятое — сходные черты характера и общность исторической судьбы (историческое прошлое). Единственный в этой иерархии «биологический» показатель русскости — внешность — занимал довольно скромную 6—7 позицию, разделив ее с местом жительства¹⁶. (Преимущественно этнокультурное наполнение этнической идентичности русских сохранилось и в 1990-е годы.)

Слабость русской этнической идентичности была закономерным результатом государственной политики растворения русской идентичности в советско-имперской. Институциональная «неполноценность» России по сравнению с другими советскими республиками побуждала «русских видеть во всем СССР собственное “национальное государство”»¹⁷. Однако означало ли это, что СССР был «руссоцентричной империей» в том смысле, что русские правила в ней и получали от своего имперского статуса преимущества?

Советская национальная доктрина носила дуалистический характер, предполагая диаметрально противоположные линии поведения по отношению к русскому и всем другим народам империи. На первых порах коммунистическая власть последовательно и целенаправленно поощряла развитие самосознания нерусских народов. Хотя впоследствии это направление советской политики ослабло, оно никогда полностью не исчезало и не сходило на нет. Как уже указывалось, в рамках Советского Союза, представлявшего по форме федерацию народов, а не территорий, были созданы институциональные, экономические, кадровые и социокультурные предпосылки для формирования новых наций и возникновения национальных государств. Бесспорны и общепризнанны заслуги советской власти в сохранении малочисленных этнических групп, культурной самобытности и народных традиций.

Эти фундаментальные достижения коммунистического режима оказались в конечном счете его пирровой победой: в условиях драматического ослабления имперского центра на рубеже 1980—1990-х годов институционализируемая этничность генерировала мощные центробежные импульсы, немало поспособствовав крушению СССР. Но, как и в случае с гибелью Российской империи, бурный рост периферийных национализмов был скорее следствием, чем первопричиной. Следствием прогрессирующей неэффективности государственной машины, кризиса легитимирующей идеологии и атрофии имперской мифологии.

Отношения между советской версией имперского государства и русским народом трудно охарактеризовать иначе, чем трагический парадокс. Победа большевизма в России была во многом обусловлена тем, что он опирался на систему русских этнических констант, апеллировал к глубинам русского национального духа. Как известно, идеология овладевает массами и создает социальную динамику (становится «материальной силой», по Ленину) лишь тогда, когда интеллектуальные концепции, транслированные в политические программы, в грубый и наглядный язык лозунгов, «сцепляются» с выраженными в мифах архетипами и устойчивыми национальными стереотипами и побуждают к жизни коллективное бессознательное. Сила идеологии не в интеллектуальной изоэтрениности, а в ее адекватности конкретному национальному сознанию. И если аутентичный марксизм выглядел далекой от России кабинетной схемой, то большевизм оказался именно *русским* марксизмом.

¹⁶ См. там же. С. 377—378. Отсутствие профессионального маркера в этом перечне объясняется идеологическим контекстом времени проведения опроса. Вероятно, в скрытом виде он присутствовал в категории «культура».

¹⁷ И. М. Брудный. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России. С. 90.

Мы без труда обнаружим, что советская идеология использовала формы, диспозицию и логические связи русской мифосимволической системы, наполнив мифы новым мобилизующим содержанием. *Русский мессианиззм, идея русской исключительности* и *миф о русском народе — носителе высшей Правды и Справедливости* нашли выражение в концепции СССР как форпоста прогрессивного человечества, ведущего мир по пути освобождения. *Миф России* как пространства без границ и препятствий, но с неоднородной, иерархически ценностной структурой возродился в геополитической иерархии «рубежей социализма»: СССР как ядро, затем — «социалистический лагерь», еще дальше — страны «социалистического выбора», за ними — дружественные Советскому Союзу «прогрессивные, миролюбивые страны». О *мифе служения* и говорить нечего: преданность государству-партии подавалась как высшая социальная и моральная ценность социализма. То же относится и к *мифу покровительства*: именно в советское время «освобождение», «братская помощь», «выполнение интернационального долга», «защита мира во всем мире» приобрели, без преувеличения, вселенский размах¹⁸.

Эксплуатация большевизмом русской мифосимволической системы имела двойные последствия. С одной стороны, обеспечивалась убедительность коммунистической идеологии, задавалась грандиозная динамика во всех сферах жизни общества, получали легитимацию новые государственные и социально-политические институты. С другой стороны, разительное противоречие новой реальности *этническим* интересам русских в перспективе вело к ослаблению мобилизационных свойств советских мифологем и деградации имперской мифологии.

Эта новая реальность состояла в том, что Советский Союз оказался несравненно менее русским (а первые десять лет своего существования и откровенно антирусским) государством, чем Российская империя, на обломках которой он возник. Русская этничность и тем более русский национализм изначально рассматривались коммунистической властью как одна из ключевых угроз стабильности советской империи, что привело к последовательному и сознательному подавлению русской идентичности: в 1920—1930-е годы сокрушительный удар был нанесен православию — вместилищу национального духа и этнообразующему принципу русского народа, жесточайшим преследованиям подверглись образованные слои старого русского общества, традиционное мировоззрение основной части русского народа — крестьянства — было безжалостно разрушено в ходе сталинской модернизации.

С середины 1930-х коммунистический режим отказался от стратегии «выжженной земли» и, учитывая значительный мобилизационный потенциал русской этничности, обратился к нему в критические для страны годы Великой Отечественной войны. Однако *функциональное* использование русского этнического фактора всегда сопровождалось жестким политико-идеологическим контролем и носило строго дозированный характер. Государственное поощрение православной церкви, великодержавная и ксенофобская риторика, антисемитская политика, реанимация имперских подходов в историографии, возвращение старой символики не изменили сути режима.

Староимперские идентитеты включались в новую советскую идентичность. Возрождавшийся имперский патриотизм использовался как важный, но все же дополнительный источник государственной легитимации, основополагающие принципы которой — монополярная власть партии и большевистская идеология — не подлежали сомнению.

¹⁸ См. С. Лурье. В поисках русского национального характера. С. 63—64.

Взаимоналожение русского этнического и имперского начал и даже их удачный синтез (например в российской и Советской армиях) не означали тождественности интересов русского народа и имперского государства. Последние чаще всего осуществлялись ценой пренебрежения и нередко элиминирования русской этничности. Возродивший империю Сталин продолжал относиться к русскому самосознанию с заведомым подозрением, свидетельством чему может служить так называемое «ленинградское дело», вызванное стремлением ряда высших партийно-государственных руководителей добиться повышения реального, а не символического, статуса России. На исходе сталинской эпохи со всей обнаженностью проявилось парадигматическое противоречие между имперским и русским этническим принципами. «Несомненно, Сталин в некотором смысле был русским националистом, возможно, даже самым удачливым. Однако в другом смысле... Сталин сделал максимально возможное, чтобы уничтожить все исконно русское. При нем нео-Российская империя достигла своего апогея, как одна из двух мировых сверхдержав, тогда как русскую нацию довели до состояния почти унижительного»¹⁹.

При преемниках «красного цезаря» настороженно-агрессивное отношение к русской этничности продолжало сохраняться. Но, опасавшийся спровоцировать массовую нелояльность «народа-победителя», коммунистический режим уже не мог вернуться к политике brutального подавления русской идентичности и вынужден был нехотя делать шаги навстречу законным этническим интересам русских, создавая в России некоторые культурные и информационные институты, существовавшие в других республиках, легализуя историко-реставрационное движение и т. д. Политика власти по отношению к пробивавшемуся из-под глыб русскому самосознанию колебалась между желательностью его нейтрализации и неизбежностью признания и учета русских интересов.

Эта объективно обусловленная двойственность открыла возможность для возникновения в СССР 1960-х годов общественного движения, которое в историографии получило обобщенное наименование «русский национализм». Сам факт его бытования и относительно успешного развития в литературе и искусстве породил в стране и за ее пределами массу политических спекуляций по поводу возможных покровителей русского национализма в высшем партийном руководстве и гипотетического дрейфа режима в направлении национал-большевизма²⁰. Предположения подобного рода чаще всего находили свое обоснование в официальной советской политике «антисионизма», нередко служившей идеологической «крышей» для юдофобских настроений среди части общества и советско-партийного аппарата.

Признавая гипертрофированную акцентированность еврейской темы в русском национализме, хотелось бы, однако, обратить внимание на нетождественность феноменов национализма и юдофобии. Между ними может возникнуть связь, если в системе ценностей и соотнесений того или иного национализма евреи занимают нишу «врага» (национализм вообще не может развиваться без противостояния «другому»), но она не носит обязательного характера. Другими словами, юдофобия не имманентна национализму, что доказывается хотя бы ее гораздо старшим, по сравнению с национализмом, возрастом. Даже из сомнительного допущения, что всякий русский националист — антисемит, вовсе не вытекает, что любого антисемита можно зачислить в националисты.

¹⁹ Дж. Хоскинг. Россия: народ и империя. С. 501.

²⁰ Наиболее четкое и последовательное выражение этой точки зрения см.: А. Янов. Русская идея и 2000-й год. N. Y., 1988.

По крайней мере в понимании национализма современной наукой²¹. Наличие антисемитской составляющей в советской политике выглядит слишком слабым основанием для предположения о наметившемся националистическом перерождении коммунистического режима.

Феномен, возникший и развившийся в СССР 1960—1980-х годов, не может быть сведен к национализму: собственно русский национализм был в его рамках лишь одним из нескольких течений, причем политически далеко не самым влиятельным. В едином потоке, который можно определить как специфическую *советскую версию консерватизма*, сливались тяготевшие к сталинизму коммунистические консерваторы, русские националисты различной идеологической окраски и разной степени радикализма (от национал-большевиков до монархистов, от представителей культурного истеблишмента до диссидентов с немалым тюремным стажем) и «внепартийные» юдофобы. У них не было единой идеологии, хотя существовали общие опорные точки — культ сильного государства и традиционализм. При этом речь шла о возвращении к совершенно различным традициям: для коммунистических консерваторов и национал-большевиков — к сталинско-имперским; для писателей-деревенщиков — к патриархально-крестьянским; для монархистов — к романтизированному самодержавию. Идеологическую подоплеку советского консерватизма скорее составляла не позитивная повестка, а негативный консенсус: отвержение Запада, связанных с ним ценностей, а также подозрительное отношение к тем интеллектуальным группам, которые их разделяли.

Но это подозрение распространялось и на целую этническую группу — советских евреев. Почему? Значительная представленность евреев в интеллектуальных и творческих профессиях и характерная для них либеральная и антипочвенная ориентация позволяли усматривать в еврействе своеобразного ретранслятора западных влияний. Уникальное в советском контексте право евреев на эмиграцию давало основания сомневаться в их лояльности именно как этнической группы. Тем более что они уезжали в Израиль и США — страны, выступавшие в советской мифологии метафорой Зла. Наконец, возвращенное в сталинскую эпоху настороженное и негативное отношение к евреям продолжало жить и развиваться в последующую эпоху.

Возвращаясь к консервативному движению, следует отметить, что различия в статусе и целях его участников не мешали их сотрудничеству, где существовало своеобразное разделение функций: сотрудники партгосаппарата обеспечивали политическое прикрытие, в то время как писательское сообщество несло в советское общество набор консервативных идей и ценностей. Однако в любом случае не русские националисты определяли погоду в этом альянсе — его ведущей силой были коммунистические аппаратчики, которые использовали русский национализм совершенно в сталинском духе: дозирование, выборочно, в качестве *дополнительного* источника легитимации и аргумента в междоусобной борьбе со своими оппонентами. Но никогда русский национализм не ставился ими во главу угла. Не существует никаких отчетливых указаний на национал-коммунистическое перерождение режима в брежневское правление.

Его гипотетической трансформации в этом направлении препятствовал ряд обстоятельств. Во-первых, сопротивление влиятельных оппонентов консервативной фракции в партийно-государственном руководстве. Судя по ряду воспоминаний из брежневской эпохи и некоторым опубликованным в последнее вре-

²¹ См. об этом: **Р. Коротеева**. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? (особенно С. 185); **А. Миллер**. О дискурсивной природе национализмов. — «Pro et contra». 1997. Т. 2. № 4.

мя документальным свидетельствам, с конца 1970-х годов возрождение русского самосознания рассматривалось КГБ (регулярно докладывавшим свои соображения высшему советскому руководству) как одна из главных внутренних угроз политической стабильности в СССР²². При этом угроза русского национализма, его потенциальное влияние в советском обществе явно преувеличивались²³.

Во-вторых, понимание коммунистической властью кардинальной опасности изменения этнополитического баланса и национальной политики в пользу русских. Континентальная империя могла существовать лишь за счет эксплуатации ресурсов ее территориального и этнического ядра. Россия играла роль финансового и сырьевого донора советских республик, поставщика рабочей силы для нужд имперской модернизации. Номинальная метрополия советской империи фактически находилась на положении внутренней колонии: уровень жизни в РСФСР был ниже, чем в других советских республиках европейской части СССР. Дискриминация русских интересов компенсировалась гипертрофией имперской идентичности, целенаправленным растворением «русскости» в «советскости», что призвано было, с одной стороны, ослабить угрозу русского национализма, а с другой — стимулировать у русских имперский патриотизм. Подобная политика выглядела рациональной с точки зрения приоритетов общесоюзного развития, сохранения единства страны и поддержания в ней стабильности.

В другом смысле она представляла проекцию имперского идеала на землю. «Империя не является инструментом обеспечения каких-либо прагматических интересов создающего ее народа: она самоценна как система, материализующая политическими средствами универсальные и абсолютные ценности, по отношению к которым интересы любого народа занимают по определению подчиненное положение»²⁴. И это дает основания квалифицировать СССР как последнюю *подлинную* империю в ойкумене.

В историческом плане Советский Союз отчасти воспроизводил дореволюционную ситуацию: русские несли ответственность за империю, но не пользовались в ней преимуществами. Принципиальное отличие состояло в том, что если до революции русские представляли собой *этническую субстанцию* империи, то в СССР их пытались превратить в *деэтнизированный субстрат*, призванный скрепить блоки империи и лечь в основание «советского народа». При этом использовавшаяся «старой» империей политика ассимиляции исключалась. Коммунистический режим умело эксплуатировал влиятельный в русском сознании мотив жертвенности, восходящий, по-видимому, к православию: русским предлагалось пожертвовать собственной самостью и этническими интересами во имя идеала Империи.

Превалирование этнических русских в высшем политическом эшелоне СССР не может служить доказательством «русского» характера коммунистической власти, поскольку оно не обеспечивало русскому народу *никаких* социальных и экономических преференций. Политический истеблишмент

²² Так, 28 марта 1981 года председатель КГБ Ю. В. Андропов направил в ЦК КПСС служебную записку о необходимости «пресечь враждебные проявления “русизма”, охватившего часть интеллигенции» («Источник». 1994. № 6. С. 109).

²³ Примечательно, что в аннотированном каталоге «58-10. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде» (М., 1999), содержащем краткие сведения примерно о 60 процентах всех заключенных, которые были осуждены за антисоветскую агитацию и пропаганду в период с 1953-го по 1991 год, количество дел, относящихся к русским националистам, весьма невелико. (Эта информация почерпнута из статьи: **Н. Митрохин**. Этнонационалистическая мифология в советском партийно-государственном аппарате. — «Отечественные записки». 2002. № 3. С. 288, 290.)

²⁴ **С Каспэ**. Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика. М., 2001. С. 210.

ощущал себя «советским», а не «русским». В политике Кремля невозможно обнаружить даже намека на приоритет русских интересов как интересов *этноса*. Широкое распространение русского языка и обязательность его изучения диктовались необходимостью поддержания единого культурного, научного, образовательного и коммуникационного пространства, а не задачами имперской ассимиляции. (Не стоит также забывать, что ассимиляция нередко носит *добровольный* характер, будучи свободным вхождением в более сильное, развитое и влиятельное культурно-языковое пространство.)

К исходу советской эпохи морально-психологические и социокультурные механизмы компенсации имперского бремени русских становились все менее эффективными, а его тяжесть — все более ощутимой. Во многих национальных республиках русские стали чувствовать себя крайне неуютно еще задолго до распада Советского Союза. Не в их пользу менялся этнодемографический баланс в стране. Хотя русский национализм так и не стал в Советском Союзе влиятельным общественным движением, его талантливая фракция в литературных кругах пробудила родовую память русских, вызвав ностальгию по традиционным ценностям и посеяв сомнение в обоснованности цены, выплачиваемой русским народом за строительство и поддержание советского колосса. Среди русских усиливалось тревожное ощущение, лучше всего переданное афористичной фразой А. И. Солженицына: «Нет у нас сил на империю!»

Русская идентичность и судьба СССР

Советская империя как универалистская и метафизическая идея погибла раньше, чем прекратила существование ее «земная оболочка» — советское государство. Постепенное умирание имперского мифа наглядно проявилось и воплотилось в кардинальных изменениях, происходивших в структуре массового сознания: для «позднего» советского человека была характерна сосредоточенность на частной жизни, представлявшей для него высший смысл и высшую ценность, при одновременном размывании надличных ценностей и идеальных императивов. Обществом активно отторгались основные принципы, лежавшие в основе имперского государства. Имперская идентичность к исходу СССР переживала драматический кризис: сохранилась ее привязка к государству, но внутреннее наполнение истощилось: идея империи не вызывала более экзистенциального напряжения и не стимулировала политическое действие.

Продолжая ощущать империю «своим» государством, русские уже не желали более жертвовать ради нее ни скромным благосостоянием, ни тем более жизнями, что делало малореалистичной политическую мобилизацию под имперскими лозунгами. В то время это обстоятельство еще не осознавалось в полной мере: многие, в том числе М. С. Горбачев, всерьез опасались русской имперской реакции, направляемой консервативной частью коммунистической партии.

В свою очередь слабость и размытость этнической идентичности, низкая интенсивность ее переживания и преимущественно этнокультурная привязка обусловили невозможность масштабной мобилизации русских на этнической основе. Русскому национализму как в имперской, так и в этнической версиях попросту не было к чему апеллировать: имперская идентичность *уже*, а этническая *еще* не «запустили» общество.

Продолжавший оперировать недееспособными имперскими мифологемами и взывавший к потерявшим силу идеальным императивам русский национализм оказался неадекватен духу времени и состоянию отечественных умов. Слабость русской этничности и низкое качество русского политического на-

ционализма помогли избежать развития событий в СССР по югославскому сценарию, где мощная сербская идентичность послужила плацдармом масштабной и агрессивной мобилизации под великосербскими лозунгами.

Сохранявшийся потенциал имперской мобилизации, который можно оценить приблизительно в треть населения России (около 30 процентов голосов было отдано на выборах президента РСФСР 12 июня 1991 года за кандидатов, отстаивающих сохранение целостности Советского Союза), вряд ли мог актуализироваться, превратившись в массовое политическое действие. И прежде всего потому, что институты, выступавшие в советском контексте оплотами имперского сознания — коммунистическая партия, союзная бюрократия, армия и госбезопасность, как показало развитие событий во время трагифарса 19—21 августа 1991 года, потеряли не только волю к власти, но даже волю к борьбе²⁵.

Советский Союз исчез в одночасье, без борьбы и сопротивления со стороны русских, даже живших за пределами РСФСР. Вряд ли можно найти лучшее доказательство тому, что он был *идеоцентричной*, а не руссоцентричной империей. В противном случае имперский народ не преминул бы встать на защиту своих привилегий.

Стоит обратить внимание на модель этнополитической мобилизации, предлагавшуюся В. В. Жириновским, занявшим на президентских выборах 1991 года третье место с 7,8 процента голосов. Стержень его избирательной программы составила идея придания русским статуса доминирующей нации в СССР, то есть «русификации» империи. Другими словами, он апеллировал не к идеальным императивам, а к вполне прагматическим *интересам* — и это выделяло его из круга русских националистов. Но поскольку в отечественной традиции опыт колониальной империи отсутствовал, то революционные, без преувеличения, призывы Жириновского не могли быть в полной мере восприняты и оценены русским сознанием. Не говоря уже о том, что в 1991 году идея реактуализации империи в любой форме не имела шансов на успех, что было связано с кардинальным изменением вектора общественного сознания.

На смену имперской мифологии пришла либеральная, властно овладевшая русскими умами. Я не только не разделяю распространенное мнение о принципиальной несовместимости либерализма и русской традиции, но убежден в прямо противоположном: либеральные мифологемы оказались адекватны русскому национальному сознанию, иначе бы в России рубежа 80-х и 90-х годов прошлого века не возникла мощная социально-политическая динамика. В данном случае я оставляю в стороне вопрос об отношении доморожденного либерализма к аутентичной либеральной традиции и о результатах трансплантации либеральных мифов на русскую почву. Важнее другое: либеральные мифы пробудили к жизни мощный и до поры дремавший антигосударственный, анархически-бунтарский пласт русского сознания — пресловутую русскую «волю», которая не тождественна западной свободе и означает освобождение человека от всех и всяческих обязательств, даже перед самим собой.

В СССР либерализм инициировал бунт русской архаики против государства как такового, против форм организации и трудовой дисциплины, присущих позднему индустриальному обществу. Если в 1917 году либерализм проиграл опиравшимся на русскую традицию большевикам, то на рубеже 80-х и 90-х годов XX века он смог взять исторический реванш именно благодаря поддержке русской почвы — это была ее отсроченная реакция на форсированную модернизацию России.

²⁵ Многочисленные свидетельства на этот счет содержатся в воспоминаниях А. С. Черняева, помощника последнего советского генсека и президента СССР (см. А. Черняев. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 1997. С. 13, 20, 148 и др.).

При всем антагонизме имперской и либеральной мифологии, в отечественном контексте они парадоксально сходились в своем отношении к русской идентичности. Черпая мобилизующую силу в одном источнике — русском самосознании (хотя и тяготея к противоположным полюсам русской политической мифологии), либерализм и имперская идеология были также едины в своем подозрительном и даже враждебном отношении к русскому этническому принципу. При этом либералы намеренно отождествляли этническое и имперское начала русской истории.

В отличие от Восточной и Центральной Европы, а также ряда советских республик, либерализм и национальная традиция воспринимались в России как антиподы. Концептуальным ядром отечественного либерализма, по точному замечанию социолога Л. Бызова, послужили «идея абсолютной ценности западного цивилизационного пути развития и, соответственно, отрицание самоценности “российской почвы”»²⁶. Русская идентичность рассматривалась с точки зрения презумпции виновности — как опора имперской традиции и потенциальная угроза демократии.

Даже в драматической схватке рубежа 1980-х и 1990-х годов за политическое доминирование в РСФСР либеральное движение избегало символов и понятий националистического дискурса. Концепты «политической нации» и «гражданского национализма», либеральное толкование «национальных ценностей» и «национальных интересов» были взяты им на вооружение лишь несколько лет спустя. Вместе с тем либералы смогли весьма эффективно использовать идеи «российского суверенитета» и «равноправия России», авторство которых принадлежало русским националистам. Но если националисты вкладывали в них преимущественно или даже исключительно *этнический* (подразумевая в первую очередь русских) смысл, то либералы — *территориальное и общедемократическое* содержание.

Именно демократические идеи оказались созвучными остро переживавшемуся русскими ощущению ущемления своих национальных интересов и неравноправия России, преодоление чего им виделось в демократической трансформации империи. Но не в отказе от единого государства, все пространство которого, напомню, русские рассматривали в качестве «большой» Родины.

Эта двойственность русского сознания в полной мере проявилась на знаменитом референдуме 17 марта 1991 года, когда, выступив за сохранение Советского Союза, русские РСФСР одновременно поддержали требование республиканского суверенитета. Вряд ли они отдавали себе отчет в принципиальной несовместимости этих позиций: континентальная империя могла сохранять единство лишь за счет своего основного этнического массива и территориального ядра.

Но имперский миф к этому времени уже утратил свои мобилизационные свойства и экзистенциальную напряженность, а русский этнический миф в силу своей слабости не мог его компенсировать — это и послужило одной из главных причин быстрого и сравнительно бескровного распада Советского Союза. Вместе с тем неразвитость русской этнической идентичности обернулась кардинальной проблемой, когда в политическую повестку дня встал вопрос о строительстве национального государства и формировании новой нации, что требовало дополнить демократическую легитимность национальной. Решение этой задачи затруднялась еще и тем, что в отечественном контексте принципы нации и демократии оказались разведены и противопоставлены друг другу. ◆

²⁶ Л. Бызов. Становление новой политической идентичности. С. 52.